

Юрий Колкер  
ПОЧЕМУ МЫ НЕ С ВАМИ  
(письмо к Н. К-вой)

...Твоё письмо заставило меня задуматься, дорогая.  
Ты пишешь:

«...вы с Таней негативно относитесь к России и почти ко всем, кто там живёт...»

Это правда. Мы плохо относимся к тем 85% населения вашей страны, которые одобрили захват Крыма. Страна — это люди; камням и деревьям мы не поклоняемся. Процент людей бессовестных слишком высок. В нацистской Германии никогда не было такого процента людей, одобрявших Гитлера. Мы помним о героях и праведниках Германии времён нацизма, но страну судим в целом. То же и с теперешней Россией.

Мы с Таней твёрдо верим (твое «почти» совершенно справедливо это подчёркивает), что в вашей стране живут и люди замечательные, выдающиеся умом и нравственностью. Но их слишком мало. При взгляде со стороны в глаза бросаются не они. Впечатление такое, что у вас катастрофически недостаёт людей обычных, но при этом честных и совестливых. И никого не упрекнёшь за то, что к такой стране человек относится без симпатии.

Заметь, что мои слова «ваша страна» не означают высокомерия. В теперешней России мы не жили. Полжизни назад мы уехали из Совдепии, которая, конечно, была другой страной.

Ты пишешь:

«...У нас есть телевизионный канал *Дождь*. Он подписной, потому, что ему не дают вещать и даже рекламу показывать не давали. Но это самый настоящий канал для людей думающих и неравнодушных. Мне очень хотелось бы, чтобы вы хотя бы немного его посмотрели...»

Не сомневаюсь, Наташенька, что этот канал ведут умные и достойные люди. Но ты сама признаёшь: он существует по милости кремлёвской хунты. Тем самым он уже несвободен. Вам, живущим в атмосфере лжи, он может облегчать жизнь, — нам, живущем в свободном мире десятилетия, полуправда не нужна. Мы отвыкли от дозированной правды. Но это не всё.

Мы не смотрим московского телевидения больше сорока лет, его никогда не было в нашем эмигрантском доме. Мы отвыкли от русского языка с экрана — и не верим ему. Не верим фактам и людям, потому что не верим их языку, низкому и уродливому.

Вот взятый наугад пример: нелепое словечко *озвучить* вытеснило нормальное слово *огласить*. Задумаемся на минуту о смысле этой подмены. Человек издаёт звуки только двумя органами своего тела. Кем нужно быть, чтобы для выражения своих мыслей и чувств предпочесть голосовым связкам задний проход? А ведь именно это получается в вашем новоязе. Миллионы людей произносят — и не понимают, что они произносят.

Теперь вообразим, что мы с Таней смотрим и слушаем этот ваш *Дождь*, и с экрана говорит с нами умный и достойный человек, праведник, герой, говорит смелую правду, говорит — вообразим и такое — что-то новое для нас, новое и интересное, но при этом он уже вымарался в вашей бочке дёгтя и вместо *огласить* произносит *озвучить* или вместо *успешливый человек* говорит *успешный человек*. Как ты думаешь, что мы сделаем? Верно,

мы выключим телевизор, уйдём от экрана с гадливым чувством. Наше твёрдое впечатление, что России больше нет, что ваша страна — не Россия, получит ещё одно веское подтверждение, совершенно нам не нужное, мы ведь и без того сыты этими подтверждениями.

Ты пишешь: этот канал — «для людей думающих и равнодушных». Соглашайся не глядя: так оно и есть. Но всё-таки он не для Тани и не для меня. Думающим человека делают всегда его невзгоды, чаще всего — теснящая его общественная несправедливость. Мы в Совдепии нахлебались этой несправедливости с детства и, решаюсь допустить, думающими людьми были, притом с ранних лет, когда ваши нынешние истые богомольцы все сплошь ещё были истыми комсомольцами. Может быть, мы с Таней и сейчас думающие люди, но это уже совершенно неважно, потому что мы состарились. По той же причине к судьбе вашей страны мы именно равнодушны. У нас нет с нею даже общего языка.

Позволь мне на минуту удариться в воспоминания. В молодости мы с Таней не были равнодушны, мы были страстными патриотами, верили в Россию Пушкина и Толстого, в небесную Россию будущего, мечтали служить ей, да и служили по мере наших сил и разумения в советском полуподпольи, в самиздате, трудились ради возрождения России, шли на жертвы, едва не угодили в большевистские пыточные застенки и лагеря (а иные из наших друзей угодили). Мы, смею думать, были нормальными людьми, следовали завету Пушкина:

Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!

В начале 1990-х, после крушения большевизма, общий язык с вашей страной у нас ещё был, и мы мечтали, что она может стать нашей страной. Ты помнишь: весь мир смотрел тогда на Россию с надеждой, все страны распахнули ей объятия. Мы тоже радовались и надеялись! А что вышло? Что с годами обнаружилось на месте России с её пресловутой всемирной отзывчивостью? Всемирная ненависть, злоба и страх, имперский миф и жажда крови.

Ну, и состарились мы, как уже сказано; не горим больше свободой; хотим покоя и воли... У нас была отчизна, а теперь её нет, — вот что принесли с собою годы, не говоря уже о людях, нас оттолкнувших. Пушкин прав: свободой горят в молодости. Честь тоже дело молодое. Свобода, честь и отчизна стоят в одном смысловом ряду, они — понятия общественные, предполагающие близость с окружающими людьми, важную общность с ними. Молодость вообще чудесно сближает людей очень разных.

Но какая отчизна, какая честь возможна среди чужих? Разве мне нужна честь в Замбии, свобода в Гваделупе? Свобода есть защищённость единомыслием, закреплённым в законе; совесть, воплощённая в законе. Где нет закона, нет и свободы. Свободу мы с Таней обрели в 1984 году, вырвавшись (после десяти лет борьбы за выездные визы) из общества беззакония, из общества чужих. С тех пор большевизм рухнул, но разве отношение к закону в вашей стране изменилось? Разве суд у вас независим?

Конечно, и в нормальной стране годы сделали бы с нами своё дело; «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей», — но чужих в вашей стране было бы для нас разительнее меньше, и родина не превратилась бы в чужбину.

И ещё одно я хочу сказать в связи с твоим *Дождём* и с нашей старостью: умные и достойные люди этого *Дождя* — в большинстве своём люди поколения нашей дочери или ещё моложе. Пусть они все говорят на правильном русском языке; пусть они совершенно свободны; пусть они говорят вещи для нас новые и интересные, — даже и в этом случае (что всё-таки мне вообразить трудно) мы вряд ли смогли бы смотреть этот канал. У каждого поколения (как у каждого народа) — своя правда, неисповедимая для другого поколения (другого народа), в своей полноте не передающаяся другим. Истина поколения, создавшего *Дождь*, — не наша истина.

Ты скажешь, что там выступают и люди нашего поколения: уж они-то дня нас свои, родные. Возражу и тут. Эти люди остались в стране, в которой мы жить не смогли, они прожили там те десятилетия, которые мы прожили на свободе. Уже одно это отдаляет нас. Мы, милостью тогдашних большевиков, уезжали безвозвратно, без всякой надежды увидеть друзей, родные места и родные могилы. Это значит, что ради выживания в новом для нас мире мы должны были полностью отвернуться от предавшей нас родины, не вспоминать о ней, не жить её интересами (оттого-то и пошловатой эмигрантской ностальгии мы ни на минуту не знали). А эти оставшиеся люди, во-первых, смогли остаться, значит, страдали в Совдепии меньше нас, во-вторых, они десятилетиями жили интересами страны, для нас чужой.

Но пусть бы даже эти люди нашего поколения, оставшиеся в Совдепии, страдали не меньше нас, пусть они по своей природе лучше нас, патриотичнее: остались, чтобы служить России, — десятилетия, прожитые врозь, развели нас. Мы с ними могли быть родными в незапамятные времена, но теперь — между нами пропасть. По времени, по числу прожитых лет, в нашу эмиграцию укладывается целая человеческая жизнь... жизнь Пушкина, например, уж не говорю: Дельвига... Мы не знаем по именам ни ваших политиков, ни ваших культурных воротил. Мы не смотрим и не слушаем про вашу жизнь больше сорока лет. Опять выходит, что ваш *Дождь* нам ни к чему.

Ты продолжаешь:

«...На этом канале любой может рассказать о себе. Это, конечно, мои фантазии, но ты ведь рассказывал лондонской аудитории о том, как было раньше. Значит, это тебя волнует? А мне бы хотелось, чтобы это узнала наша большая аудитория...»

Да, мне случалось в последние годы выступать в лондонском Пушкинском клубе с рассказами о прошлом, о полуподпольной ленинградской поэзии 1970-х годов. Тема, сама видишь, маргинальная. Слушала меня горстка людей. Меня попросили выступить, и я согласился, хотя сторонюсь общественной жизни. Но представить себе, что мой рассказ окажется интересен и нужен многим зрителям вашей страны, на это моего воображения не хватает. Я — устарел, да-да. Хороший или плохой, я принадлежу прошлому, а нормальные люди живут настоящим и будущим.

...Ясно помню, как в юности, читая Герцена, я пережил потрясение от мысли, что дети русских эмигрантов его эпохи часто переставали быть русскими, не возвращались в Россию, порывали с нею, с её языком и культурой. Ясно помню горечь, которую я при этом испытывал — горечь за них, за Россию, за себя. Горечь и ужас. Я спрашивал себя: разве такое возможно?! Ведь это значит душой своею поступиться! Ведь здесь всё родное, а там? ... В юности — я горел пушкинской свободой, сердце было живо для чести,

души прекрасные порывы были посвящены отчизне. Как отчизна ответила мне, уже сказано. А жизнь вот как повернула: я счастлив, что мои внуки не говорят по-русски.

Ты видишь, что в юности я считал себя русским вполне, до конца (и, разумеется, был русским). Не вовсе я перестал им быть и теперь: моё священное писание — четырёхстопный ямб Пушкина, Боратынского и Ходасевича. Но моё тогдашнее потрясение при чтении Герцена, моя горечь и мой ужас — косвенное свидетельство сущностной неправды русской жизни: противоестественного изоляционизма России. Англичанин, всю жизнь живущий во Франции или Швейцарии (возьми хоть Грэма Грина), не вызовет горечи и потрясения в душе английского молодого читателя. Европа для англичанина — та же родина. Так должно было быть и в России, ведь Россия — страна европейская. К этому, пусть негладко, дело и шло в XIX веке, лучшем веке России. Не кто-нибудь, а Достоевский сказал это почти моими словами: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия...» Это Достоевский! А ведь были и прямые западники.

Старость сделала своё дело в моей душе, довершила дело твоих добрых соотечественников. Старческое равнодушие, старческая чёрствость и замкнутость — вещи неизбежные. «Слегка седеющий мой волос люблю за право на покой», говорит Боратынский. Пушкинские покой и воля — о том же: о старении. Старик хочет и имеет право замкнуться, доживать своё в своём мире. Накапливается критическая масса нетерпимости, делающая для него мир молодых и деятельных людей чужим, не нужным, даже отвратительным. Мне, например, стало тягостно общество религиозных людей. В молодости я тянулся к ним, страстно искал Бога, себя считал стихийно верующим, — сейчас верующие кажутся мне лицемерами. Мне невыносима современная политическая корректность, давно ставшая своим прямым отрицанием. Людей с татуировками я держу за прямых недоумков, а их миллионы. *Всё это неправильно с моей стороны.* Религиозность не исключает порядочности и великодушия, в политической корректности даже сегодня не всё ложь, человек с татуировкой может оказаться неглупым, — зато всё это правильно со стороны природы, готовящей человека к смерти: с миром, который тебе отвратителен, легче расстаться. У меня в близкой перспективе главное событие человеческой жизни: смерть. Что мне за дело до жизни вашей далёкой и чужой страны? Что у меня общего с прекрасной молодёжью из телевизионного канала *Дождь*?

Ты пишешь:

«...У журналистов *Дождя* есть программа: «Как это было». Там не только политика. У них не так много возможностей, как у крупных каналов, но они стараются делать как можно больше...»

Они стараются, добрые молодые люди! Тоже сеют разумное-доброе-вечное, как и мы некогда сеяли. Но, боюсь, «спасибо сердечное» от «русского народа» они получают такое же, как мы получили. Русский народ-богоносец на поверку оказался выдумкой русской литературы XIX века. Его «спасибо сердечное» — Лубянка и Гулаг... Счастье, что человек не знает своего будущего!

Ты пишешь:

«...И я решила подарить тебе подписку на *Дождь* на 3 месяца. Если ты принципиально ничего не хочешь смотреть, я не обижусь. Тогда отдай это

тому, кто смотрит у вас. Даже если у них есть подписка, это продлит ее. Я прежде всего помогаю этому каналу... В общем, я тебе посылаю подарочный сертификат. Там все написано, что нужно делать...»

Как ты догадываешься, я препроводил твой подарок Тане, она в этой части покрепче меня будет, а во всём главном мы с нею согласны. Таня заглянула — и смотреть не смогла. Что там ей не понравилось, я не спрашиваю; обсуди с нею сама, если хочешь. Так что: ещё раз спасибо, но, сама видишь, всё сказанное до опыта — подтвердилось.

Ты пишешь:

«...Да, мне бы хотелось, чтобы больше людей знало о прошлом. И твои стихи тоже. Мне вспоминается тот момент, когда я ехала в автобусе и читала книгу твоих стихов, и девочка-соседка, заглянув в мою книгу, начала читать, не могла оторваться и спросила, чьи это стихи? ..»

Ты, по обыкновению, слишком добра ко мне. Кому нужны стихи, тем более стихи старика? Зима вступила в свои права: я сочиняю мало и плохо, сам это вижу. Пушкин говорил (кажется, барону Розену; был такой поэт), что поэтом можно быть только до тридцати пяти, а драмы (тот ещё драмы сочинял) можно писать хоть до семидесяти, — но Пушкин не сказал, что хоть что-нибудь следует писать после семидесяти лет... Я засиделся на этом свете, живу чужой век... Ну, и — enough is enough is enough, как произнёс один террорист с трибуны ООН. Террорист, разумеется, солгал, убивать не прекратил; может, и я лукавлю перед тобою и самим собою. Как ты знаешь, с прошлого года я опять начала посылать мои сочинения в журналы — после десятилетия воздержания, после публикации моей итоговой биографии. Все мы непоследовательны. Но уж не в вашу страну посылаю я написанное, на только в эмигрантские журналы.

«...А еще, даже если вы просто будете иногда что-то смотреть, там очень большой архив. Есть лекции Дмитрия Быкова, который вспоминает разные исторические литературные моменты. Может быть, ты с чем-то даже будешь не согласен...»

Кажется, о Быкове мы с тобою уже говорили. Судьба сводила меня с ним, я помню его начинающим. Его ранние стихи были очень хороши. Но теперешний Быков мне не друг. Знаешь ли, что такое посредственность? Посредственность — то, что нравится многим. Это — определение посредственности, тут нет исключений. Фаддей Булгарин при жизни нравился ровно в десять раз больше, чем Пушкин (тиражи Булгарина в десять раз превосходили тиражи Пушкина), он был любимым автором, купался в славе... потому-то, между прочим, и не обижался на рой эпиграмм из кружка Пушкина. Боюсь, что и Быков — обывательская золотая середина. Очень, очень способный человек, спору нет; и деятельность его внушительна, и слава его заслужена ... но, во-первых, «способный человек бывает часто глуп» (Вяземский), а во-вторых, слава и посредственность идут рука об руку. Уж не говорю, что слава, как всякая лесть, уродует человеческую душу.

Если ты счастлив, владея толпой,  
Значит, толпа овладела тобой

— это слова одного христианского отшельника. Можно и байроновского Манфреда вспомнить в переводе Бунина:

...кто хочет  
Повелевать, тот должен быть рабом;  
Кто хочет, чтоб ничтожество признало  
Его своим властителем, тот должен  
Уметь перед ничтожеством смиряться,  
Повсюду проникать и попевать  
И быть ходячей ложью.

Так в политике, так и в эстетике. Быков, насколько я вижу, — советский человек и приспособленец. Это ещё один Маяковский, хоть он и талантливее Маяковского (что совсем не похвала): он, по большому счёту и в первую очередь, всё-таки затейник, конференсье. Он обращается к тем, для кого литература — развлекательное чтение, а не дело совести.

Вот, Наташенька, всё, что я хотел тебе сказать в качестве приложения к моей благодарности за твой подарок... Нет, ещё скажу два слова. Старости приписывают мудрость, но у молодости есть своя мудрость и своя несомненная правота, возвышающая её над старостью. Мир принадлежит молодым и деятельным, борющимся и равнодушным, так что — ты права, а я не прав, но, уж не сердись, я поневоле остаюсь в моей заскоружной неправоте.

Обнимаю тебя.